

Осоргин Михаил Андреевич

Сивцев вражек

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-311.3
ББК 84-4

Осоргин Михаил Андреевич

Сивцев вражек / Осоргин Михаил Андреевич – М.: Книга по Требованию, 2011. – 196 с.

ISBN 978-5-4241-1709-1

Первый роман Михаила Андреевича Осоргина "Сивцев Вражек" был издан, когда его автору исполнилось пятьдесят лет. Позади остались годы революционной деятельности, сотрудничества в "Русских ведомостях", работы в Книжной лавке писателей, борьбы с голодом в Комитете помощи голодающим, позади была Россия, единственная, страстно любимая, впереди - годы изгнания, освещенные чувством сыновнего долга перед страной, в которой родился. М.А.Осоргин написал много прекрасных книг. Сейчас они возвращаются на Родину.

ISBN 978-5-4241-1709-1

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Осоргин Михаил Андреевич
Сивцев вражек

Михаил Андреевич Осоргин

Сивцев вражек

Роман

* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ *

ОРНИТОЛОГ

В беспредельности Вселенной, в Солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка, в своем кабинете сидел в кресле учений-орнитолог Иван Александрович. Свет лампы, ограниченный абажуром, падал на книгу, задевая уголок чернильницы, календарь и стопку бумаги. Ученый же видел только ту часть страницы, где изображена была в красках голова кукушки.

Не ученые мысли бродили в его голове, а простая житейская о том, сколько лет ему осталось жить. Унесла его эта мысль в глубь леса, где кукует кукушка, и сколько прокукует - столько и жить осталось. Таково народное поверье, и не глупее оно всякого другого предсказания. Ошибается кукушка, как ошибаются и врачи. И ни один врач не может предсказать, когда человека задавит трамвай.

Широколицый, руссийский, седобородый профессор умирать не хотел, а смерти не боялся только потому, что в юности и в старости был мужчиной и умницей. Он был известен в ученом мире и свою науку любил по-особенному; была красота в его науке: окраска перьев, пенье, природа, рожденье весны, прощание с летом. Поэзия была в его науке. Каждую птичку он знал и за это знание свое - любил. И умирать профессор орнитологии не хотел; еще и еще хотел жить. Но сколько же лет жизни обещает ему бессемейная, беспечная птица кукушка?

Кукушка прокуковала три раза. Профессор улыбнулся; суеверным он не был и к своим часам привык. Книгу закрыл, заложив бумажкой. Зевнул - хороший признак. На старости лет страдал он бессонницей. Встал, поясницу помял пальцами, опять зевнул - и, потушив лампу, вышел в спальню.

Через час, когда полная тишина окутала дом и кукушка прокуковала четыре, - из-под книжного шкафа выползла мышь и стала прислушиваться. Кажется - все благополучно, все спит, кошачьего глаза не видно. Мышь пошевелила хвостиком, передернула ноздрями и отправилась в путь.

Путь лежал через спальню профессора, под дверь другой спальни - и столичную. Такова малая вылазка, за крошками. Более длинное путешествие - в кухню; оно очень опасно (кошка). И лучше начать его через другой ход - из-за сундука в коридоре. Там тоже дырка в полу.

Видела мышь только ближний кусочек пола и очертания дальнейших предметов ровно настолько, чтобы не сбиться с пути. Если бы видеть так, как видит кошка!

Добежав до двери, мышка пропустила в щель жир и убедилась кончиком хвоста, что пролезла. Опять остановка - и легкая тревога. Орнитолог спал по-стариковски, беспокойно. Во сне говорил: "Что? Почему? Ах, это все равно!" Но вот дышит ровно, спит.

Всю жизнь так и убил на свою науку. Птицу узнавал издали по перышку, по силуэту, по тихому щебету, - а людей узнавал ли с той же легкостью? По щебету облюбовал себе подругу жизни, выпутились птенчики - три птенца. Оперились, выросли, отлетели. А теперь тут, за стеной, внучка - осталась без родителей.

Старуха жива - былая щебетунья, прожившая с птичьим ученым все сорок лет. Птицу так не выберешь, как выбрал человек! Но, конечно, было в жизни всего; особенно в молодые годы...

Опять старик пошевелился во сне, и юркнул серый комочек под дверь в соседнюю спальню.

Было здесь душно. Кровать стояла огромная, вся в подушках, и угол одеяла опустился. Спала на кровати, будто детка, калачиком, седая маленькая старушка, жена профессора. На столике стакан воды, порошки и конфеты в бумажке. И кресло стояло покойное, просиженное. И пахло лавандой и прошлым.

Здесь было так нестрашно, что мышка неторопливо прошла по ковру, остановилась, присела, задумалась.

Здесь было покойно, как нигде, и как нигде - безопасно. Дышала старушка совсем неслышно, и снилось ей простое и неинтересное. Спала со сжатыми губами, а зубы лежали в стакане с водой.

Но зато дальше на пути была комната, которую можно и лучше пробежать быстрее и без остановки. Страшная комната, гулкая и нежилая. В запахе спален есть умиротворяющее, житейское; но страшен зал с большими окнами и далекими силуэтами.

В круге зрения мышки блеснуло - и она отпрянула. На тонкой мордочке зарубатили ноздри и усы. Не так страшно: только стеклянные подножки рояля. Но, Господи! В таком огромном мире все страшно мышке серой и беззащитной!

Маленькая мышка и огромный рояль, способный грянуть всеми струнами и оглушить. Рояль этот был господином дома.

Профессор играл: "Вот, хотите, я изобразжу вам соловья; сначала так: фью-и, фью-и; тут низко: фуррр... и трель... а вот как щелкает - никак не изобразишь!" Его жена, старушка Аглай Дмитриевна, играла очень хорошо, но упросить ее трудно. "Ну, руки у меня стары, еле двигаются". Танюша - будущая артистка; и сила у нее есть, и влечение к музыке, и способности. Танюша учится в консерватории. На маленьких концертах выступает без страха. Но живет рояль полной жизнью только тогда, когда приходит вечером профессор Танюши Эдуард Львович. Тогда действительно... И бывает это почти каждое воскресенье. Долго не сият мыши в подполе в те вечера. И ночью не выходят на разведки.

Эдуард Львович - пожилой человек, некрасивый, неинтересный собеседник, но пианист удивительный. И композитор. Любит сладкие сухарики к чаю. Никогда в жизни не пил водки. Странный немножко человек.

А мышка тем временем уже возвращается из столовой. Крошки нашлись, и немало. В коридор мышка заглянула было, но там стукнуло - и пришлось бежать. В столовой все обшарила. Опять теперь через залу и спальню - за книжный шкаф, в дырочку и домой. Светает. В темноте страшно, при свете еще страшнее. Всегда страшно.

Серым комочком пробежал вечный страх по комнатам профессорской квартиры, и никто его не заметил. Никто не знал, что целая мышиная семья помогает червяку точить деревянные скрепы пола и прочные, но не вечные стены. Охлаждается земля, осыпаются горы, реки мелеют и успокаиваются, все стремится к уровню, иссякает энергия мира - но еще далеко до конца.

Мышиный хвостик на мгновение задержался наружу - и исчез.

Кукушка прокувовала шесть раз. Профессор заскрипел кроватью. Солнце

задело занавеску окна.

Вместе с ним к окну подлетела ласточка, сегодня прилетевшая из Центральной Африки на Сивцев Вражек.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Родилось утро - в белой сорочке румяное утро. Молочными крыльями забилось в окна. И тогда щелкнула задвижка и окно распахнулось. Танюша, щурясь, столкнулась с утром, и холодок залился за рубашку. На цыпочках, впропрыжку, отбежала обратно к постели - еще понежиться, счастливая, что день будет сегодня хороший.

Ранним утром, при окне открытом, - какие думы у девушки в шестнадцать лет? Первая - день хороший, вторая - сегодня воскресенье. Вместо третьей думы - беспричинная улыбка. Затем заботы: позвонить Леночке, чтобы вечером непременно пришла. И понежиться в постели хорошо, и облиться холодной водой тянет. Напившись кофе, разобрать новые ноты. Вечером будет играть смешной и милый Эдуард Львович.

Внучка деда своего, "птичьего профессора", - сразу заметила, что прилетели ласточки. Непременно сказать дедушке. Вчера их еще не было значит, сегодня первый день настоящей весны.

Колокола, колокола, шум проснувшейся улицы и ласточкино "чирр". Жизнь впереди длинная-длинная. И тонкими пальцами (ногти обрезаны низко, как у музыкантиши) погладила круглеющий скат плеча, с которого упала рубашка. Потом, сразу - ноги на коврик - и побежала к зеркалу, посмотреть на лицо. "Вовсе я не безобразная!"

В шестнадцать лет девушка знает свои глаза и делает презрительную гримаску; но зеркало еще не говорит ей о тайне голого плечика. Через минуту - холодно, ни для кого отразило оно руку, поднявшую кувшин, и струю, облившую тело, - разве для ласточки, которая пролетела мимо окна. И деловито, крепко делало свое дело мохнатое полотенце. И вот Танюша готова.

На стене висит фотография картины, где люди на диване слушают музыку.

Пока пришла пуговка - уже девятый час. Будить дедушку - привилегия Танюши. Она стучит в дверь:

- Дедушка, вставайте! Чудесный день и новость: прилетели ласточки.

- Алло, Танюша, встаю, встаю...

- Как вы спали?

- Хорошо, ты как?

- Тоже хорошо. Ах, дедушка, какой день! Я велю подавать кофе.

В этот день во многих домах московских распахнулись утром окна, и выгляднули из них лица молодые, старые, заспанные, свежие, щурились, слушали колокольный воскресный перезвон. Сыпалась старая затвердевшая замазка с прилипшей к ней ватой, вынимались и выливались стаканчики кислоты, подметался подоконник, и крошки сора падали за окно. В верхние этажи солнце, воздух и колокола влетали полновесными клубами и дробились о стены, о печку, о мебель. У верующих было на душе пасхально, неверующим весна принесла животную радость.

На дворе выбивали ковер, на окне в кухне кухарка поставила ящик с землей и натыкала проросших луковиц.

На углу Малой Бронной студент покупал моченые яблоки и шел домой в

Гирши*, локтем прижимая распавшиеся листы Римского права. Под каменным мостом мальчик, водя языком по углу раскрытых губ, забрасывал нитку с булавкой и думал о том, что вдруг схватит большая; ноги перепачкал по колено.

* Место традиционного проживания московского студенчества. М. А. Осоргин в университетские годы и сам жил в этом районе (Большая и Малая Бронные улицы и примыкающие переулки).

Звенел трамвай неистово и напрасно, и городовой белой нитяной перчаткой законополагал движение двух пролеток и одного ломовика.

В этот день семинарист, уже полгода думавший о самоубийстве, решил отложить еще, а женщина-врач, одинокая и некрасивая, краснея, купила недорогую шляпу, все равно какую; однако сегодня ее не надела, а вышла в старой, так как с юности выработала в себе сильную волю. Термометр Реомюра с улыбкой играл на повышение.

Это был вообще - замечательный день.

КЛАДБИЩА

Но есть окна, которые никогда не открываются; иные за решетками, как в тюрьмах. Через стекла, всегда пыльные, тусклый свет падает на шкафы и регистраторы, набитые бумагами.

В Париже, в Берлине, в Лондоне, где весна наступила раньше, она опасливо обошла старые здания, не бросив луча света в окна дипломатических архивов. Умнейшие мужья, полиглоты, умевшие мыслить шифром, стерегли эти кладбища исписанной бумаги, чертежей и негативов.

Солнце думало, что жизнью земли руководит оно. Вся человеческая жизнь рисовалась ему лишь воплощением энергии его лучей. Оно населило полярный север высшими формами органического мира; когда пришло время, оно создало страшную катастрофу живущего, убило высокую культуру полюсов и развило отсталую экватора до совершеннейших форм. Оно смеялось над стараниями земных организмов приспособиться, над их борьбой за существование, мало влиявшей на улучшение породы и облегчение жизни. Все, что делал полип или человек, - было делом его, солнца, было его воплощенным лучом. Ум, знание, опыт, вера, как тело, питанье, смерть, - были лишь превращением его световой энергии.

Но маленький, страдавший насморком, защитный в полосы материи на пуговках человек, защитившись от солнца стенами, впустив лишь нужный пучок света по проволоке в запаянный стеклянный стаканчик, пробовал вершить свою жизнь по-своему. Он макал перо в чернила, писал, шептал и приказывал.

Из стоп исписанной бумаги создавались гекатомбы*. По проволокам текли правда и ложь, подогревались и создавали факт, мотив, причину, повод. Мозг человека боролся с солнцем, стараясь подчинить живущее мертвой воле. Огораживал забором кусок земли, стенами город, границами государство, цветом расу, традициями национальность, современностью историю, политикой быт. Хитрый и пытливый мозг строил пирамиду из живых и трупов, взбирался по ней до верхней точки - и рушился вместе с нею.

* Гекатомбы - здесь: всякое большое жертвоприношение.

Солнце смеялось над ним, он смеялся над солнцем. Но последним смеялось всегда оно. С непостижимой для ума человека силой солнце швыряло на землю споны энергии, рожденной в электромагнитном вихре. Как таран, падали его

лучи на землю - и рушилось все, что человек считал созданием своего ума, создавалось все, что только могло быть созданьем солнца.

Молчаливейший, в себе самом замкнутый чиновник разобрал слово за словом шифрованное письмо и перевел на рубленую, точную немецкую прозу. Посланник прочел, усмехнулся, одобрил, так как в письме одобрили его.

Посланник думал, что знает все, что знают высшие сферы Берлина, но знал он только большую часть. Высшие сферы Берлина знали все, кроме того, что знал маленький сербский гимназист*. Гимназист же знал очень мало, почти ничего. Он был отравлен капелькой национального яда, был честен, пылок, искренен и истеричен. Он учился стрелять в цель, нарисованную на внешней стене курятника. Это могло дорого обойтись пестрым курам и их крикливому паше; но по счастливой случайности пули ни разу их не задели.

* Маленький сербский гимназист - Гаврила Принцип, член сербскохорватской националистической организации "Молодая Босния", 28 июня 1914 г. совершил покушение в Сараево на австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола. Этим убийством было спровоцировано начало первой мировой войны в июле 1914 г.

Когда маленький серб научился хорошо стрелять, он решил сделаться национальным героем. Для этого нужно убить врага нации - иного способа стать героем не придумано. А так как много маленьких сербов учились стрелять в цель на стене курятника, то одному из них судьба непременно должна была послать новую цель - грудь австро-венгерского эрцгерцога.

Этого могло и не случиться. Но тогда случилось бы что-нибудь другое. Что бы ни случилось - в архивах за пыльными окнами на все был готов ответ. Солнце творило историю, человек писал к ней комментарий, но творцом истории считал себя. Поэтому он окружил себя стенами и не распахивал окон даже весною. Кладбище бумаг и секретов, добытых дружбой и шпионажем, он считал сигнальной станцией мира и пульсом страны.

Таких кладбищ было много, больших и малых; ими гордились страны, властители и народы.

И хотя в беге веков и кружении туманностей сплоченная сила всех этих кладбищ значила не больше, чем: придет ли Леночка вечером слушать музыку на Сивцев Вражек, - но в жизни Леночки и Сивцева Вражка, как в жизни всех, кто пашет, пишет, сеет и любит, кто жил вчера и будет жить завтра, была огромной и решающей роль бумажных кладбищ.

И в тот момент, когда девушка шестнадцати лет распахнула окно и увидела первую ласточку, - искра радиостанции чиркала воздух, хитрым червячком вилась мысль в мозгу дипломата, курица на насесте наклонила случайно голову и избегла пули гимназиста, перо газетчика надувало пузырь национальной гордыни.

По сырой и тучной земле, забивая копыта, лошадь тащила плуг.

Легким движением рычага рабочий опрокинул в форму ковш расплавленного металла.

Набухли почки молодой березы. Зеленела трава.

Но тот, кто шел за плугом, еще не знал, что на зеленой лужайке, близ подрезанной снарядом березы, он падает, распластанный и оглушенный, остывшим и вновь разгоряченным металлом. Не знал этого никто. Это было неважно. И

осталось бесследным.

На бумажных кладбищах кресты заменены цифрами. В округленных цифрах исчезают лишние единицы. Того, кто шел за плугом, не было и не будет; нет ни рабочего, ни березы, ни подрезавшего ее снаряда.

Живое исчезло в округлении цифр.

КОСМОС

Вечером окна домика на Сивцевом Вражке были гостеприимно освещены.

Подходя к крыльцу, Эдуард Львович поднял голову и увидел красные гардины зала. Ему стало тепло и приятно. В музыкальные пальцы, озябшие в карманах легкого пальто, возвращалась кровь и подвижность. Он сегодня запоздал и застал всех в сборе, в столовой, за чаем.

У самовара Аглай Дмитриевна, в очках, с большой стариинной брошью; старый профессор спорил с молодым другом, тоже профессором, физиком Поплавским. Танюша и Леночка слушали.

У Леночки круглые глаза на розовом круглом лице. Когда Леночка слушает, она удивлена; когда удивлена, - у нее подымаются брови и раскрывается пуговка рта. Танюша умеет слушать, одновременно всматриваясь в говорящего и думая о нем, об его собеседнике, о себе самой, о смешном удивлении Леночки, о том, как много нужно и хочется знать.

Есть и еще гости: почтительный и неприятно-умный студент Эрберг и дядя Боря, старший сын орнитолога с женой, - оба они люди незаметные.

Эдуард Львович вошел, потирая руки. Его обычное место - по левую руку Аглай Дмитриевны - ждало его. Вообще - все было в порядке, как установилось за два-три года знакомства.

Пили чай. Физик Поплавский говорил с профессором об опытах Майкельсона и Мореля и о сдвиге световых волн. Орнитолог высказывал опасение: не беспомощна ли физика?

- Ваш светоносный эфир подозрителен! Слишком многое приходится прилагать и приспособливать. Вы, физики, в тупике.

Поплавский тупика не отрицал, - но разве это колеблет науку? Подождем завтра!

После чаю перешли в зал. На широчайшем диване приютились профессор, дядя Боря и Танюша. Аглай Дмитриевна в своем кресле под лампой - с вязаньем в руках. Леночка удивленно на стуле. Поплавский в самом затененном углу. Жена дяди Бори где-то незаметно.

Эдуард Львович играл где-нибудь ежедневно, но лучшим днем его было воскресенье в семье орнитолога. И он волновался. Эдуард Львович не был стар, но казался стариком: лысый, с длинными, незачесанными косами на затылке и висках. Один глаз его плохо видел. Эдуард Львович горбился, смущался своей некрасивостью и часто потирал руки.

Сел у рояля, но сейчас же вскочил и долго перевинчивал стул, устанавливая его на нужном от клавиш расстоянии. Взял аккорд, пробежал по клавишам и опять забеспокоился, оглядел крышку рояля, заглянул под него. Забеспокоилась и Танюша, бросилась помогать. Оказалось - конец ковра попал под ножку рояля. С помощью дяди Бори вытащили. Опять аккорд - хорошо.

Вместо "л" Эдуард Львович выговаривал нечистое "р". И сказал:

- Я бы хотер попробовать сыграть... но торъко есри вы хотите срушать... но

могу и что-нибудь другое...

Поняла Танюша:

- Сыграйте, Эдуард Львович, свое, про что вы говорили тогда. Оно готово?

-- Готово ли - как сказать... Я уже знаю. Но ведь это почти импровизация. Я называю это... можно назвать "Космос".

Физик отозвался:

- Космос, это... интересно. Именно музыка только и могла бы вполне...

Леночка сидела удивленная. Эдуард Львович смущенно попросил:

- Я порагар бы ручше немного меньше света...

Танюша гасит огни. Остается только лампа, освещая рукоделье старухи.

И Эдуард Львович играет.

Леночка удивленно смотрит на пальцы композитора, мелькающие в полутьме по клавишам, на его голову, то откинутую, то припадающую. Леночка слушает звуки в их раздельности и в их слиянии и думает, что это не похоже на мелодию, на танец, на увертюру оперы. Думает и о том, что Эдуарда Львовича называют гениальным, и о том, что его левый глаз косит, и о том, что вот она, Леночка, слушает игру гениального человека. Собрать и вместить свои мысли в одно целое Леночка никак не может, и брови ее удивленно поднимаются.

Дядя Боря хмур. Он - инженер, но неудачник. У него некрасивая старообразная жена. Он много не знает, в том числе и музыки. Бетховен, Григ - все это слыхал, имена, - но как различать? Скрябин - диссонансы. Почему то, что играет Эдуард Львович, называется космосом? Космос, это что-то астрономическое... Было бы хорошо, если бы все, превышающее уровень мышления дядя Бори, оказалось выдумкой и вздором. Тогда дядя Боря вырос бы и стал величиной. И вообще... почему паровые котлы ниже музыки? Что они смысят в паровых котлах? И болезненно сознает дядя Боря, что именно музыка выше паровых котлов и что это его, дядю Борю, принижает, делает несчастным, неинтересным.

Старый орнитолог полулежит с закрытыми глазами. Звуки носятся над ним, задеваются его крыльями, уносятся ввысь. Иногда налетают бурной стаей, с гомоном и карканьем, иногда издали поют мелодично и проникающе. Это не на земле, но близко над землею, не выше облака и полета жаворонка. Не страшен космос Эдуарда Львовича! Да и не так сложен, даже не экзотичен: русская природа. Но как хорошо! Старость спокойная, диван, милая внучка, доступность высшего, что зовется искусством. Я - профессор, я известен, я стар, я не хочу умирать, но, конечно, я могу умереть спокойно, как живший, исполнивший, уверенный, уходящий. Звуки - как цветы, музыка - пестрый луг, леса, водопады. Смешной он, Эдуард Львович, но он мастер, и он чувствует многое, что другим дается наукой, мыслью, старостью.

В мировых пространствах, среди туманностей, вихрей, солнца, носится остывшая планета - лампа Аглай Дмитриевны. Старуха слушает, вяжет, не спуская ни одной петли. Слушает с удовольствием, думает о том, что в самоваре осталось мало воды, а угли еще горячие. Но Дуняша догадается. Эдуард Львович прекрасный музыкант и отличный учитель. Танюше шестнадцать лет, пусть учится. Но все равно - выйдет замуж, и это главное. С музыкой выйдет лучше. А свои исторические науки тоже пусть кончит, торопиться некуда. Танюша - сиро-

та, но счастлива та сирота, у которой живы и благополучны дедушка и бабушка. Однако он долго играет. Аглай Дмитриевна посмотрела поверх очков и чуть было не спустила петли.

В самом темном углу на мягком стуле профессор Поплавский думал о своем. Мироздание - огромно, но для понятия о нем нужно представить атом. И атом не последнее. Эдуард Львович хочет постигнуть мироздание силами музыки, семью ее основными тонами, - но художественной догадкой знания не подменишь. Семь цветов спектра дают больше, и вот мы взвешиваем точными весами горящую массу далекой звезды, определяем сложный состав небесного тела, устанавлива-ем его возраст. Но, может быть, музыка права, так как идет тем же путем пости-жения и приводит к той же иллюзорности мироздания. Астроном изучает Все-лennую. Какую? Ее в этом виде уже нет! В телескоп мы видим прошлое звезд, планет, туманностей. Солнце было таким... восемь минут назад, звезда была такой - тысячелетие тому назад, другая звезда - десять, сто тысячелетий. Великая иллюзия! Но играет он, Эдуард Львович, прекрасно. Музыка велика тем, что ей не приходится оперировать словами, цифрами, что она не переводится на несо-вершенный язык. Может быть, в этих звуках космоса нет, но переведи их на язык слов и цифр... и получится... Эвклидова геометрия.

ТАНЮША

Танюша сидела на диване, подобрав ноги и головой прижавшись к плечу дедушки.

Сначала впивалась в звуки, потом унеслась в гармонии. Маленькой горящей точкой носилась в безвоздушном пространстве, окруженная вечными, безответ-ными вопросами звезд, планет, туманностей, житейским, возросшим до вселен-ного, вселенным, упавшим до мелочи быта.

Космоса в музыке не искала: просто вбирала ее в душу и рядом с ней - в ее орбите - жила. Отдала работе неосознанной мысли и свое легкое тело, и душную теплоту дедушкиного плеча, и полумрак залы, и колебанье звуков.

Большую комнату заполнила образами и видела рожденье их под потолком, хоровод вокруг лампы, срывы встреч случайных и размеренный танец. Летала с ними - за пределами стен. Дыша - открывала рот, чтобы не мешать слуху. По-случью принимала в склады ума новые тюки нераспакованной мысли - запасы сырья, к обработке которого после-после, с утренней силой приступить. Не бо-ялась - но знала, что будет трудно, была рада и серьезна.

Космос? Его Танюша не видела; он - цельность и завершенье, она - на пороге жизни, едва за пределами хаоса, из которого вышла ребенком. Она только начала собирать крупицы реального знания, вся была в мире вопросов, первых ощуще-ний, важнейших, дробящихся, противоречивых. Жадно тянулась к ясному, к ак-сиоме, не принимала теорий, негодовала на двойное решение, не нуждалась в вере. Знала, что все это важно, даже щекочущий волос дедушкиной бороды, - но было так некогда, так много было работы, что делала мыслью прыжок от деталей (о них подумает потом) к гигантскому общему, от мятой складки скатерти - к сладкому и страшному "зачем жизнь?" и особенно "как жить?". Однажды уже додумалась, что цель жизни - в процессе жизни; и потому мучалась: верно ли? Не оскорбила ли цели? Не унизила ли смысла существования?

Однажды, в разговоре с дедушкой, Поплавский сказал, что три точки в одной линии зрения могут не дать прямой, что это относительно. Не поняла вполне, но